

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

СОБЕСЕДНИК ДЛЯ МАЛЕВИЧА

"Вот Малевич бегал по Витебску с деревянной кобурой-маузером загонял витеблян — рисовать..."

Владлен Дозорцев

— Это потому, что у него собеседника хорошего не было. Владлен, я попробовала подумывать над этой мыслью.

Неизлечимо влюбленная в бессонный час предвсвеченный, она смотрела, как тьма съедает себя. Сжималась в точку, до сухого остатка, превращающегося в тугую резиновую битую. Тогда она брала эту шайбу и утверждала на углу черной крышки пианино. Черное на черном, говорила вслух. Малевич отдыхает!

Приходил в шестом часу Малевич, ворчал на бессонницу, гонял чай, отдыхал и раздражал необязательными разговорами об искусстве живописи. Или искусстве рисунка. Или искусстве абстрактном — так, вообще, сам на сам, говорил помаленечку Малевич. Поглаживая маузер.

Она сердилась, и однажды пригласила собеседника для Малевича.

Собеседник гонял с Малевичем чай и говорил об искусстве политики так, как будто искусство живописи, а тем более рисунка, не существовало в принципе.

Билковский, — представлялся регулярно и чопорно Билковский, и толстым молодым плечом разворачивался к Малевичу — руку протягивая.

Малевич удивлялся, что внутри беседы начиналось представление, но стеснялся не принять

руку Билковского. В момент рукопожатия начинался полдень. И солнце сжигало тени. Билковский удивленно следил за расторяющимся рукопожатием. Растерянно стоял с протянутой рукой...

Она говорила Билковскому — я вас ценю. Вы мальчик-подмастерье, а не политик. Вы не подходите Малевичу как собеседник. Что вы можете предьявить мастеру, кроме рукопожатия? Билковский падал на колени, протягивал перстень... Я не первая, говорила она в ответ, ваше кольцо уже отвергали. Угасните. И Билковский угасал на задворках дня, где уже вереница похудевших билковских гуськом тянулась в сумерки, чтобы наступила ночь непроглядная.

Дурная бесконечность верениц, образующихся из зависающих рукопожатий, — и есть соль политики, говорила она мрачно. И пересаливала винегрет к ужину. По вечерам она всегда ела винегрет, слушала новости и, дослушав, сразу засыпала. Чтобы влюбленно встретить бессонницу предвсвеченного часа. Увидеть Малевича, гоняющего чай с Билковским и услышать долгожданное.

Сегодня это случится, думала она. Не может не произойти.

В этот момент Малевич и произнес: "Уберите, уберите этого человека!".

Рука Билковского застыла протянутой, но не растворилась, как обычно. И полдень завис.

Пришлось заменить собеседника.

Теперь разговоры велись исключительно об искусстве. Чистом. Одно напрягало, что кроме

искусства рисунка, кроме искусства живописи появилось искусство слова, и новый собеседник, хоть руку Малевичу и не протягивал, а, подымая ее, бил себя в грудь, приговаривая: "На мне закончился век двадцатый. Я последний постмодернист"... выглядел при этом как последний постмодернист, Пилевин. Малевич так ему и говорил: "Ты последний фраер, как и последний постмодернист. Пилевин, ты — последний".

Она думала, глядя на сцену грустную, как бы подернутую серебристой пленкой бессонницы, как бы присыпанную рыхлым пеллом сгоревшего в рассветных лучах века двадцатого... Она думала, при чем здесь постмодернист? Этот собеседник вовсе не пытается ИЗМЕНИТЬ РЕАЛЬНОСТЬ. Он просто называет ее. Как ребенок. Вопрос, соответствует ли суть называния определению сути?

Малевич фырчал чаем, сюрпал супом и сообщал сварливо — определения тем и хороши, что претендуют на постоянство. То есть неизменность сути. Что суть и передает определение. Собственно, передается определением. Собственно, определение и есть формула сути, что песочные часы, как ни переворачивай, если в них на три минуты

И тогда она говорила, что какой же здесь постмодернист за чаем сидит, если брать ничего не надо. Здесь чистый модернист. А Пилевин — не чистый постмодернист, а чистый и явный постмодернист, так в литературной эн-

циклопедии написано, значит, собеседник не тот, за кого мы его имеем?

И тогда Малевич, чтобы вывести на чистую воду Пилевина, протягивал ему руку, произнося пронзительно: "Малевич". Но рукопожатия не происходило, потому что в ответ собеседник Малевича протягивал четкую фигу. И не называл имени своего.

Так наступал очередной полдень, и она раздраженно думала, что пора прекратить эти чаепития, не греющие сердце. Или искать нового подходящего собеседника для Малевича.

И наступал неизменно очередной час предвсвеченный, когда она смотрела, как тьма съедает себя, сжимается в точку до сухого остатка. Тогда она влюбленно брала эту тугую черную битую и снова утверждала ее на черной крышке пианино.

И неизменно приходил Малевич. Тут же. Со своим пистолетом. Со своими чаями, разговорами об искусстве рисунка и искусстве живописи.

Она не спала, думала о вечной проблеме собеседника.

А потом пришли однажды Политик (не Билковский) и Писатель (не Пилевин) — и вынесли нафиг пианино из квартиры.

В полдень обнаружилось, что куда-то положить тугую черную битую. И она выбросила битую через форточку. В этот день сумерки не сгустились, ночь не наступила, бессонный час предвсвеченный тоже. Началась новая неизвестная жизнь. И это было хорошо, потому что было светло. Философия пустоты оказалась замкнутой черным квадратом. И кроме того, Малевич не пришел больше. Со своим маузером.

Малевич — отдыхал.

Александр ХИНТ

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛИНА

(Из книги земли)

На луга мы гнали стада.
Реки между пальцев текли.
Да-да-да, Адам, да-да-да
Ти-ли-ли, Лилит, ти-ли-ли.

Снизу у горы лают псы,
полосни закат выше, нож.
Где твой, Авраам, нежный сын?
Линия руки — Мажино.

Что-то греешь там, на груди,
и не замечаешь, увы:
Саломея ли, Иудифь —
не поднять уже головы.

Посчитать полвека до ста,
принести полнеба в кусках —
как часам песочным отстать
на смешную горку песка,
что когда-то весело рыл
у реки (под носом сопля),
задирая кончики крыл...

Где вчера барахтался пляж,
там сегодня сорок пустынь.
Что ни голова, то Саид.
На лугах чужие кусты.
Время между пальцев — стоит.

Кто-то у смоковницы спит
в летний пополуночный зной.
Под рукою — томик открыт
на странице тридцать второй.
Муравей тащится по ней.
День шестой в глазах муравья,
книга под ногой — Бытие,
на спине хитина броня.
Рядом обмелевшая падь,
черепаша сохнет на дне —
ей до Галилея держать
муравья. И всё бытие.

Время пришло,
и проросло
в камне,
видишь, зерно,
словно стекло
в раме.
Это простить нелегко:
восемь по десять веков
хруста —
ни полюбить, ни забыть,
ни до конца затравить
псами,
как говорил Заратустра.

Не завершён
аукцион
иллюзий,
новый идет
праведный Лот,
грустен —
что поливал и любил
пепел и взедливый дым
станет.
Проще сказать "гори!",
крысы бросают Рим,
гуся
даже себя не спасают.

Чем заменить
рваную нить,
ядом
не уголить,
не надкусить
яблоком.
Что нам теперь саранча,
сделай-ка лучше чай
крепкий,
и приготовься — всё заново.
Эта звезда уже падала
рядом,
испепеляя реки.

Значит, опять
вместе стоять,
вместе
переворачивать
ноты, слова
песен.
Плотно, как двери в раю,
сомкнуты в пешем строю
люди,
присно, и ныне, и впредь —
теплая мягкая медь
забудет
медленно позеленеть.

Значит — в аду,
в третьем ряду
слева.
Слышишь, звонят,
это меня,
Ева.

У А. Хинта в феврале 2011 года вышла первая книга, стихи из которой предлагаются вниманию читателей.

Сергей ГЛАВАЦКИЙ

УГРОБЛЕНО ПОД ЗАМКАД

Генофонд, геноцид, геномор, геноцирк...
Золотые тельцы нас берут под уздцы.
Кто был ночью убит, тот сто лет уже спит.
За Садовым кольцом обретается спирт,
Под Садовым кольцом

пьют коллекторы СПИД,

И за крепкое здоровье пьет инвалид,
И скорбят по нам — Киев, Одесса и Минск...
Поминать уже некого — черный помин.

Мы — обрубки без ног, мы — культяпки без рук,
(Девятнадцатый год в наших генах — хоругвь),
Ходим в черном — сто лет, и не знаем,

что так —

Поминаем царя, что мы все еще — там,
И морально мы — трупы — уже — навсегда
(С девяностых душа наша стынет во льдах),
И нам снится, что вместо царя мы лежим
На постели его, что — постельный режим.

Это княжество катится в тартарары —
В состоянии искусственной черной икры,
И никто никогда не поможет ему,
И на нем — нефтяной черной метки хомут,
И славяне ему, будто валенки, жмут,
Все замкадыши молча шагают в тюрьму,
Под замкад, под замок, под кладбищ телеса...
Улетайте, славяне, в свои небеса!

Евгений ДЕМЕНОК

ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕГО ПИСАТЕЛЯ

2 января
Решил стать писателем. Радовался.

3 января
Долго думал и решил — нужно перечитать все стоящие книги, написанные человеками. Вдохновение, сюжеты, героев и технику буду черпать в них.

15 марта
Прочитал Толстого, Софокла, Есенина и Гомера. Здорово пишут, гады!

1 июня
Прочитал Кафку, Ремарка, Сэлинджера, Хемингуэя. Это же сколько, оказывается, люди понаписывали за это время!

30 июня
Гоголь лежит на столе немым укором. И зачем Достоевский так расстался "Братьев Карамазовых"?

22 июля
Прихожу в отчаяние. Боюсь, писать так же хорошо не получится. Ухожу к Маркесу с Борхесом. Главное — их не перепутать.

2 сентября
Бросил чтение — всё прочесть невозможно. Комплекс неполноценности укрепился. Буду пытаться его изжить. Нужно забыть все прочитанное и самому искать сюжеты в окружающем мире.

5 сентября
Пробовал писать. Герои прочитанных книг теснятся в голове, перебивая друг друга стандартными заезженными фразами. Понял, что все знать невозможно, ничего не знать не получается. Опять половинчатость.

1 октября
Ну нет, решительно невозможно написать что-либо оригинальное. Что я могу сказать после Драйзера с Бабедем? Я, закончивший одесский строительный институт?

2 октября
Пришел в отчаяние.

3 октября
Вышел из отчаяния, заглянул в холодильник. Порезал колбасу. После первого куска осенило. Буду писать для кошек и собак. Для них еще никто не писал, я буду первым. Читатели они неискушенные, строго судить не будут. Для лучшего усвоения писать буду на колбасе.

5 октября
Попробовал свое первое произведение. Вкусно! Понял, что все зависит от сорта колбасы. Буду совершенствоваться!

